

парах петербургской зимы», «на желтом снегу, облипающем плиты», подошла на улице в один из антрактов деловой жизни, неожиданно и сразу сжала сердце одним нажимом пальцев. И он в шубе, с портфелем, в котором лежала приготовленная лекция, что он ехал в этот день читать, мертвый опустился на ступени подъезда Царскосельского вокзала. Полиция отвезла труп неизвестного человека, скончавшегося на улице, в Обуховскую больницу; там его раздели и положили его обнаженное тело, облагороженное мыслью, ритмами и неврастенией, на голые доски в грязной мертвецкой. . .

. . . Из церкви Царскосельской гимназии, где совершалось отпевание, белый катафалк с гробом, с венками лавров и хризантем медленно и тяжело двигался по вязкому и мокрому снегу; дорогу развезло; ноябрьская оттепель обнажила суровые загородные дали; день был тихий, строгий, дымчатый; земля кругом была та страшная «весенняя», с которой у него соединялся образ смерти. И мне, следовавшему за гробом в самом конце процессии,<sup>24</sup> вспоминались, как кощунственная эпитафия, как загробная клоунада, трагически-циничные стихи покойного — «Черная весна»:

Под гулы меди гробовой  
Творился перенос,  
И жутко задран, восковой  
Глядел из гроба нос.  
Дыханья, что ли, он хотел —  
Туда, в пустую грудь?  
Последний снег был темно-бел,  
И тяжек рыхлый путь.  
И только изморозь мутна  
На тление лилась,  
Да тупо черная весна  
Глядела в студень глаз —  
С облезлых крыш, из бурых ям,  
С позеленелых лиц. . .  
А там — по мертвенным полям  
С разбухших крыльев птиц. . .  
О люди! Тяжек жизни след  
По рытвинам путей,  
Но ничего печальней нет,  
Как встреча двух смертей. . .

### СУДЬБА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Конечно, сейчас в России есть много людей, для которых смерть Льва Толстого представляет всю горечь потери лично близкого человека. Для них драгоценна и каноническая пышность надгробных речей и пафос народной скорби.

Но для миллионов людей в этой земной смерти великого писателя нет

ни разрыва, ни окончания, ни безвозвратной потери. Для тех, кто знал Толстого через слово, смерть не может являться утратой. Он остается им таким же живым и близким, как и при жизни. Даже больше: смерть художника не только не лишает нас чего-нибудь, она обогащает, давая фигуре человека тот последний, окончательный удар резца, который завершает лик и придает ему трагическое единство.

В судьбе человеческой нет случайностей. То, что мы называем случайностями, можно сравнить с теми произвольными, бессознательными жестами, которые, возникая помимо воли, с тем большею четкостью обнаруживают скрытую природу человека.

Постепенно из различных обстоятельств жизни, из различных внешних течений, вливающих в круг бытия, выясняется сперва смутная, потом более определенная фигура судьбы отдельного человека. Эта фигура напоминает самого человека, но в преувеличенном размере: как бы наше вечное, большое «Я». Но окончательный удар, придающий жизнь и законченность туманной фигуре судьбы, наносит смерть. Когда гаснет лик живого человека, лик его судьбы вдруг озаряется. Когда отмирает земное, мятущееся и волящее тело, тогда начинает жить не человек, а судьба человека. Это совершается так незаметно, что большинство, не постигая смысла перемены, говорит: как он вырос по смерти!

Такова доля всех тех, которые еще при жизни стремились выявить и определить лик своей судьбы, т. е. художников. В этом разоблачение тайного смысла скорбных слов Бальзака: «Все мы умираем неизвестными. Слава — солнце мертвых».<sup>1</sup> Бальзаку ли было жаловаться на неизвестность? Слова эти получают смысл только тогда, когда мы поймем их как скорбь о невозможности заглянуть в лицо своей судьбы, закрытое покрывалом, которое падает только в момент смерти.

Если ничто в жизни не случайно, то менее всего случайна смерть. Вспомните те черты, которые она кладет на человека: вспомните Лермонтова, умирающего в горах во время грозы, и Бетховена, умирающего тоже во время раската грома в покинутой комнате, и три мученических дня Пушкина после дуэли, и венчальный обряд над умирающим Вилье де Лиль-Аданом и его слова: «Посмотрите, мое тело уже созрело для могилы»;<sup>2</sup> все это огненные черты, от которых меркнет текущий, встает непреходящий облик. Смертью осмысливается вся жизнь человека.

Когда мы читаем патетические строки кого-нибудь из живущих поэтов, как часто тот факт, что поэт еще жив, лишает его слова убедительности. Читатель хочет трагического единства в жизни и творчестве. А его он постигает только после смерти художника.

В настоящую минуту, несмотря на все признание, которым Лев Толстой был окружен при жизни, его слова уже начинают для нас звучать иначе, так как говорит их не кто-то живущий между нами, а уже прошедший сквозь крещение смертью.

Смерть Толстого и обстоятельства, предшествовавшие ей, с трагической полнотой закончили лик его судьбы. Без этой последней недели его жизнь не была бы завершена.

Но завершенность эта вовсе не в примирении основных противоречий его жизни, а, напротив, во властном и непримиренном противоположении своей упорной воли неумолимой воле судьбы. Когда человеческая воля и рок борются до последнего мгновения и смерть их не примиряет, а покрывает собой, то в этом раскрывается сущность трагического.

Его сознательная воля хотела растворения в народе, самоотдачи и жертвы до конца.

Судьба вела его вопреки всему к полноте земного достатка, к спокойному благополучию, благосостоянию и довольству.

Какая странная, какая страшная Ананке,<sup>3</sup> являющаяся в виде всемирной Славы и полноты житейского счастья! Какая таинственная невозможность гибели в судьбе Толстого.

Перебирая все лики трагического, до сих пор явленные в человечестве, мы не найдем ничего подобного. Обремененные счастьем царь Кандавл и царь Поликрат находят гибель,<sup>4</sup> подготовленную завистливой Ананке. А в трагедии Толстого потрясает эта невозможность гибели при всей жажде жертвы. Это нечто еще небывалое на земле. Его смертью вписав новый знак в трагические судьбы человечества.

А вместе с тем что-то давно знакомое, давно предсказанное встает перед нами в этом знаке.

Вспомните третье искушение Христа:

«И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз;

Ибо написано: Ангелам своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;

И на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога Твоего».<sup>5</sup>

Или как то же самое место толкует Достоевский (и толкование это глубоко характерно для судеб русского духа):

«Могучий и умный дух поставил тебя на вершине храма и сказал: если хочешь узнать, Сын ли ты Божий, то низвергнись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы подхватят Его и понесут Его и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего». . .<sup>6</sup>

Не была ли вся жизнь Толстого тем чудом, от осуществления которого отказался Христос? Толстой, с глубокой верой в свою сыновность Божию, кидается много раз в жизни с крыши храма, и каждый раз ангелы поддерживают его, не дают прикоснуться к земле и снова возносят его на ту же крышу храма, где он стоит на виду у всего человечества. Вся его жизнь — это неутоленная и неутолимая жажда прикоснуться к земле, раствориться в земле, хотя бы разбившись об нее, и каждый раз ангелы подхватывают его: «да не преткнется о камень ногою своею».

И какие необычайные, иногда соблазнительные, иногда дьявольские лики принимают в его жизни эти ангелы.

Хочет ли Толстой опроститься и приобщиться изнурительному крестьянскому труду, — паханье земли, рубка дров, складыванье печей против его воли превращаются в гигиенические упражнения, очень полезные для его умственной работы.

Решает ли он отдать людям свое имение, — выходит компромисс с гр. Софьей Андреевной, а он не только не находит в отречении от имущества желанного нищенства, но, напротив, сложив с себя все заборы о делах, оказывается окруженным утонченным комфортом.

Решает ли он перестать есть мясо, — ему подают изысканный вегетарианский стол. Он не хочет обращать внимания на еду, — для него на кухне готовится несколько завтраков, один за другим, ожидая, когда он вспомнит о еде.

В этом упорном прогиводействии судьбы самым искренним порывам его сердца скрыт глубочайший трагизм.

Кольцо безопасности и благосостояния окружает его со всех сторон, и нельзя прорваться.

Пишет ли он по поводу смертной казни со всею обнаженностью ему одному свойственной откровенности, что ему хотелось, чтобы ему самому надели петлю на его старческую шею, или во время празднованья своего юбилея заявляет, что высшей наградой ему могла быть только тюрьма и гонение, — над ним тяготеет безопасность. Его последователей преследуют, близких ему людей арестуют и отправляют в ссылку. — он сам неприкосновенен. Он может говорить что угодно, писать какие угодно революционные слова против правительства, — ни один волос не упадет с его головы. Ангелы, принимающие самые реальные житейские лики, не дают ему преткнуться о камень.

Наконец, он делает последнюю попытку прорваться сквозь кольцо безопасности: он ночью тайком покидает свой дом, чтобы исчезнуть, уйти совершенно. В последний раз низвергается он с крыши собора.

С замиранием сердца следила вся Россия за исходом его последнего дерзновения. У всех была мысль за него: а может, ему удастся на этот раз разбиться о землю. Ни у кого не было сомнения, что уходит он только для того, чтобы умереть, что он умрет сейчас, на днях. И у всех была надежда: а может, конечно, это трудно, но может же быть чудо, может же он, Лев Толстой, действительно исчезнуть, скрыться, раствориться в океане народном. Конечно, его все знают, но у него такое мужицкое лицо, которое может слиться с тысячами таких же старческих крестьянских лиц; он скроет свое имя, его не успеют найти, он умрет раньше, и никто никогда не узнает, куда он унес свое тело, чтобы умереть, как Моисей, в неизвестном месте.<sup>7</sup>

Но ангелы-хранители появляются тотчас же и реют со всех сторон неба, ему невидимые, но стерегущие.

Едва только пронесся слух, что граф Толстой ушел из дому, министр внутренних дел телеграфировал заботливо, чтобы у него не спрашивали паспорта, если такового не окажется. Корреспонденты всех русских и европейских газет и добровольные сыщики тучами поскакали по его следам в Оптину пустынь и в Астапово. Через день в Астапово уже собралась вся семья, от которой он бежал; рязанский губернатор около дома, где он лежал больной, делал смотр стражникам; телеграфная проволока обессилевала, передавая во все концы мира бюллетени о его здоровье, а умираю-

щий Толстой в это время думал, что он наконец скрылся от мира и что никто не знает, где он.

Одна из последних фраз Толстого перед смертью звучит кроткой жалобой: «Зачем вы заботитесь обо мне, когда есть миллионы людей, о которых надо заботиться?».

Но у кого хватит духу упрекнуть окружавших Толстого и его близких за это кощунственное издевательство над умирающим? В совокупности обстоятельств, сопровождавших смерть Толстого, слишком много неизбежного фатума, тяготевшего над ним в течение его жизни, этот эпилог слишком четко освещает лицо его судьбы, чтобы можно было видеть причину этих последних неумолимых штрихов в случайностях и в непонимании людей, а не в нем самом.

Что же в его жизни могло вызвать такие сложные счёты с судьбой? Об этом, конечно, в ближайшие столетия будут написаны многие тома, а единственно авторитетное разрешение этой тайны станет ясно только на Страшном суде.

Но Толстой жил между нами, и мы не имеем права закрывать глаза на заданную нам загадку о его судьбе, не имеем права не определить каждый для себя первоисток этого трагического противоположения воли к жертве и благополучной судьбы.

В обстоятельствах смерти Толстого даны указания, по которым можно найти эти первоисток: то, что круг безопасности не был разомкнут для Толстого и самую смертью, указывает на то, что причина этого не только была, но и пребывала в нем.

Причина эта лежала в отношении его к тайне Зла на земле. А отношение это выражено в толстовском учении о непротивлении.

Зло Толстой понимал крайне просто и верил в то, что существует какое-то одно средство против всякого зла и что стоит только людям условиться применить его всем вместе, и зла не станет.

Формула всемирного исцеления от зла проста: не противься злу, и зло не коснется тебя.

Толстой провел ее в своей жизни последовательно и до конца. И ужас в том, что все исполнилось буквально. Как только он перестал противиться злему, как тотчас же вокруг него замкнулся круг благополучия и безопасности. Сразу притупились все жала зла, которые могли бы быть направлены против него. Образовалась безопасность, подобная непереносимой безбольности парализованного члена тела, когда больной вскрикивает от радости при первом ощущении боли.

Чем можно объяснить этот не христианский, а чисто магический эффект, столь сходный с третьим искушением Христа, вдруг возникший от буквального применения евангельских слов?

Мне думается, что причина здесь лежит лишь в одностороннем понимании слов: «не противься злему». Если я перестаю противиться злему вне себя, то этим создаю только для себя безопасность от внешнего зла, но вместе с тем и замыкаюсь в эгоистическом самосовершенствовании. Я лишаю себя опыта земной жизни, возможности необходимых слабостей и падений, которые одни учат нас прощению, пониманию и приятию мира.



«Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». <sup>8</sup> Не противясь злу, я как бы хирургически отделяю зло от себя и этим нарушаю глубочайшую истину, разоблаченную Христом: что мы здесь на земле вовсе не для того, чтобы отвергнуть зло, а для того, чтобы преобразить, просвятить, спасти зло. А спасти и освятить зло мы можем, только принявши его в себя и внутри себя, собою его освятив.

Толстой не понял смысла зла на земле и не смог разрешить его тайны.

И потому сбылось с ним по слову Писания: «Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя. . .». <sup>9</sup>

## ПАМЯТНИК ТОЛСТОМУ

Какой он должен быть? Я говорю не о способе почтить достойным образом память Толстого, а об чисто скульптурной задаче. Какой должна быть статуя Толстого на одной из площадей Москвы?

В чем смысл памятника? Лицо и фигура человека должны стать собственным его символом, символом его жизни и его исторического значения. Памятник скульптурный должен в конкретных формах земного лика художника или героя найти то, что было в нем вечного и соответствующего его историческому значению.

Так, например, представляя себе памятник Достоевского, я его вижу в арестантском халате, стоящим во весь рост, с кандалами на ногах, с обритой обнаженной головой. Но лицо его поднято к небу, и на нем почти экстатическая радость. Но в этих знаках не следует видеть намека политического. Обстоятельства жизни Достоевского дают только материал для символа всечеловеческого. То, что Достоевский был каторжником в Сибири, служит лишь прообразом того, что он был *каторжником земли*, что у него на ногах были цепи земных, низких страстей, что голова его была здесь обнажена и обрита, как голова раба, но он и в рабском виде и скованный воскликнул свою «Осанну». Такая символизация делает памятник законченным и общепонятным, т. е. понятным на разных планах: те, кто не смогут возвыситься до понимания мирового смысла судьбы Достоевского, поймут житейский трагизм его земной судьбы.

Памятник Льву Толстому должен быть *конным*.

Можно ли представить себе конным кого-нибудь из других русских писателей: Достоевского, Гоголя, Пушкина? Нет. Даже Лермонтова нельзя представить себе конным, несмотря на всю его мужественность. А Льва Толстого можно.

Почему?

Припомните все знаменитые конные памятники: верокиевского Коллеоне в Венеции, Марка Аврелия на Капитолии, фальконетовского Петра и, наконец, Александра III — Трубецкого.<sup>1</sup> Они все конные, потому что изображают *героев воли*. Какая тяжелая, принижающая, все топчущая (копытом Атиллы!) воля выражена в коне Коллеоне! Воля мягкая и мудрая, воля умиротворяющая и уравновешенная в статуе Марка Аврелия, про которую прекрасно сказал Мицкевич, что он едет среди благословляю-